



Пока трава снова зеленеет

Илья Лейн

Илья Лейн

Пока трава снова зеленеет

«Автор»

2026

Лейн И.

Пока трава снова зеленеет / И. Лейн — «Автор», 2026

Есть книги, которые не требуют от читателя бежать быстрее. Они возвращают способность замечать, как проходит жизнь. В этом сборнике китайская эссеистика говорит о мечте и ограничениях, любви и свободе, одиночестве, стихах, садах, путешествиях, старости, чае, дружбе и той тихой красоте, которая становится заметна лишь тогда, когда суета отступает. Автор смотрят на повседневность без суеты, но с редкой внутренней точностью. Эта книга не обещает победить страдание. Она предлагает более редкое искусство: увидеть в конечности вещей их очарование и дождаться момента, когда трава снова станет зеленой.

© Лейн И., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава первая	5
Моя мечта	10
Когда мне был двадцать один год	12
Ю Гуанчжун	19
Два	20
Три	21
Если бы у меня было девять жизней	22
Чжу Гуанцянь	25
О жизни и о себе	27
Конец ознакомительного фрагмента.	29

Илья Лейн

Пока трава снова зеленеет

Глава первая

О сокровенном — тихо, по долгому пути — не спеша

Спрашивая дорогу из инвалидного кресла

Инвалидным креслом я пользуюсь уже тридцать три года и за это время сменил почти дюжину колясок — даже самому трудно поверить. Осенью 1980 года у меня впервые обнаружилась почечная недостаточность. Я спросил доктора Бай: «Сколько мне ещё отбывать этот срок?» Она ответила: «Постарайтесь продержаться ещё десять лет». Мы оба говорили шутливо, но понимали, что это не шутка. На этом разговор оборвался: она поспешно перевела тему, и тем самым всё подтвердила. Впрочем, десять лет — уже немало.

Тогда никто не мог предсказать, насколько доступным станет диализ. Да и сам Пекин в те годы словно заканчивался у Третьего транспортного кольца.

В то время известный режиссёр Тянь Чжуанчжуан работал над дипломным фильмом. Вместе с группой молодых коллег и лысоватым преподавателем Линь Хунтуном он выбрал для экранизации мой рассказ «Наш уголок». Однажды, когда я лежал в больнице, они вкатили в палату совершенно новую рычажную коляску и предложили обменять её на мою старую: для съёмок, говорили они, старая будет выглядеть правдоподобнее. Такая коляска напоминала трёхколёсный мотоцикл, только приводилась в движение руками. Получив новую вместо старой, я невольно подумал, что теперь и вправду смогу прожить ещё десять лет. Увы, при выписке обмен совершили обратно: съёмочные бюджеты тогда были не чета нынешним.

И всё же та старая коляска была для меня самой дорогой. Её подарили двадцать одноклассников и друзей. По сути, это был подарок двадцати матерей: их дети всё ещё работали в деревне — откуда у них могли взяться деньги? Много лет эта коляска возила меня на работу в уличную мастерскую, в парк Дитан, где я читал, в Управление по делам образованной молодёжи; на ней я колесил по улицам и переулкам, выбирался на окраины смотреть закаты и звёзды над открытыми полями... Она катилась сквозь непроглядную ночь, рассвет и любовь — и всё дальше несла меня вперёд.

На Праздник весны 1979 года Лю Цин помог мне, невзирая на северный ветер, добраться на велосипеде до редакции журнала «Весенний дождь», где проходила встреча писателей. Там мои произведения впервые получили признание. Редакция помещалась в старом доме; узкая крутая деревянная лестница скрипела под ногами. Молодые писатели, дружно выкрикивая команды, подняли меня вместе с велосипедом на второй этаж. Жилище и правда было скромным: истёртые деревянные полы, отсыревшие стены, несколько старомодных люстр, ещё хранивших след бывшего аристократического изыска... Кто-то сидел, кто-то стоял; вместе ели пельмени, читали рукописи, горячо спорили и высказывались без утайки. Это было по-настоящему страстное время.

Такую коляску нельзя было просто списать из жалости, и в конце концов я отдал её человеку, которому приходилось ещё тяжелее, чем мне. К тому времени я уже получил первые гоночары и купил электрический трёхколёсный велосипед — на нём было удобнее ездить далеко.

Электрический трёхколёсник и правда был хорош для дальних поездок — и столь же хорошо умел бросать меня посреди дороги. Оба раза это случилось по пути к Су Вэю: однажды порвалась цепь, в другой раз спустило колесо. Мобильных телефонов тогда не было. Сначала я долго сидел в растерянности, а потом наклонялся и поочерёдно вращал колёса руками: когда

уставала левая рука, принималась правая. Назад меня выручали друзья — в один раз Чэнь Цзяньгун, в другой Чжэн Ваньлун. Они шли рядом и толкали трёхколёсник, так что домой я добирался лишь к полуночи.

Цепь или шину ещё можно было починить сравнительно легко, а вот неисправности электромеханики оказывались куда сложнее. К счастью, у меня было трое мастеров по коляскам: сначала Тигго, затем Лао Э и Сюй Цзе. Когда Тигго уехал за границу, заботу о технике взяли на себя двое других. И теперь, если ломается электрическая коляска, на которой я езжу сегодня — о её чудесных возможностях расскажу позже, — к делу подключаются все трое: Тигго разыскивает детали за рубежом, а Лао Э и Сюй Цзе ремонтируют её здесь. Они безупречно работают сообща, связываясь через спутники и подводные кабели.

Когда у меня только отнялись ноги, я тайком решил до конца жизни сидеть дома с книгами и никуда не выходить. Но однажды родные уговорили меня выбраться во двор. Я увидел ярко-синее небо, ивы, почувствовал лёгкий ветер — и моя решимость сразу поколебалась. Одноклассники и друзья часто навещали меня и рассказывали о большом мире; от их рассказов у меня теплело на душе. Я подумал: пожалуй, не так уж стыдно снова появиться в этом давно забытом мире в инвалидной коляске. Так у меня возникла первая коляска. Её спроектировал сосед, которого мы звали братом Чжу. Отец взял чертёж и объехал весь город в поисках мастера. Лишь через много дней одна жестяная мастерская согласилась взяться за заказ. В ход пошли два велосипедных колеса, два поворотных ролика и выброшенные железные оконные рамы. Мать сшила сиденье и спинку. Позже по бокам установили опоры и положили на них доску — получился письменный и обеденный стол, а при случае даже подобие барной стойки. Дело было не только в экономии. Сейчас трудно поверить, но тогда приличную инвалидную коляску почти невозможно было купить; если она изредка появлялась в магазине медтехники, то стоила баснословно и была чудовищно громоздкой.

Об этой коляске я писал и в эссе «Поход в кино»: «Всю ночь валил густой снег. Мы заранее узнали, что в кинотеатр не пускают с рычажными колясками, и тогда мать...» Она повезла меня в нашей самодельной коляске... Снежинки всё ещё кружились в воздухе, словно рой мотыльков у тусклых фонарей. Снег на дороге слежался и заледел; матери было тяжело толкать коляску, но она была счастлива... Она знала, что я собираюсь писать, знала о моей переписке с режиссёром Чанчуньской киностудии и потому считала эту поездку в кино очень важной, почти особенной. Что именно делало её особенной? Пока мы вдвоём пробирались по радостной заснеженной дороге, ни она, ни я не могли бы ответить; нас лишь смутно согревала надежда.

Сколько надежд пожилой супружеской пары было вложено в эту самодельную коляску! Но следующую — настоящую — мать уже не увидела.

Её подарил мне журнал «Гадкий утёнок». Это была настоящая, изящно сделанная коляска из нержавеющей стали — складная, разборная, с золотым иероглифом «#» («счастье», «благословение») на каждом подлокотнике.

Было и ещё кое-что, что мне так хотелось показать матери, но она до этого не дожила: в 1983 году мой роман получил национальную премию.

Награда словно придала мне смелости, и тем летом меня пригласили в Циндао на писательскую конференцию, организованную журналом «Гадкий утёнок». После паралича я вспомнил о «бесстыдной отваге», которой учил меня Ли Чжэ. Смысл был прост: если хочешь чего-то добиться, не слишком дорожи лицом; даже не зная ответа, не бойся обратиться к знатокам и учиться у них. Когда Ли Чжэ говорил это, мы ещё жили на севере Шэньси и нам было по восемнадцать-девятнадцать лет. Из-за Культурной революции мы окончили лишь среднюю школу, но именно эта «бесстыдная отвага» помогла босоногому врачу Сунь Ли Чжэ быстро овладеть медициной: он провёл множество операций в пещерных жилищах северной Шэньси и заслужил уважение ведущих хирургов страны. Я тоже установил для себя правило: как бы

неловко мне ни было, нужно как можно больше общаться с писателями. К счастью, кроме ног, всё остальное у меня работало исправно, и я, зажмурившись, отправился со всеми в Циндао.

Помня прежний опыт, я настоял, чтобы коляску погрузили в багажный вагон: после выхода из поезда она всё равно была бы нужна, а во всём Китае тогда, вероятно, не насчитывалось и сотни такси. Всю дорогу меня сопровождал брат Шушэн. Однако на этот раз всё оказалось совсем иначе. В прошлую поездку, в Бэйдайхэ, Гань Тешэн прямо от поезда довёз меня до гостиницы на велосипеде. Теперь же багажный вагон был наглухо забит товарами. Шушэну, у которого и без того было слабое сердце, приходилось то и дело принимать быстродействующее сердечное средство; он всю дорогу обливался потом и пытался поддерживать разговор.

На обратном пути я уже не решился ехать в багажном вагоне: сдал коляску и вместе со всеми сел в вагон с жёсткими сиденьями. Вход находился в голове состава, а наши места — почти в хвосте. Высокий, крепкий Лю Шуган нёс меня на спине. Сначала я слышал, как он спокойно меня подбадривает, затем — только его тяжёлое, словно мехи, дыхание. Когда мы наконец добрались до мест, от былой внушительности Лю Шугана осталось лишь мертвенно-бледное лицо.

Интересно, существует ли ещё журнал «Гадкий утёнок»? Коляской с иероглифом «#» я обязан его первому руководителю Ху Шиину. Увидев, как трудно поднимать и спускать мою рычажную коляску, он вполголоса спросил: «Нет ли чего-нибудь полегче? Может, подарим ему такую?» Лю Шушэн, дремавший на кровати, тут же проснулся и вмешался: «Предоставьте это мне, вам останется только возместить расходы». Ху Шиин замаялся: он не представлял, во что обойдётся покупка. Те Лян тогда ещё работал на заводе медицинского оборудования и рассказал, что там как раз испытывают партию колясок, выпущенных совместным китайско-иностранным предприятием: качество хорошее, но цена высокая. Шушэн повторил: «Оставьте всё мне, просто покупайте». Коляску приобрели за 495 юаней — в 1983 году! Говорят, увидев счёт, руководитель Ху долго цокал языком.

Мои поездки по Китаю начались с коляски «Фу» — с иероглифом «#». Но на самом деле страну мне показывали люди, которые толкали, несли и поднимали меня. Сначала друзья из Пекинского союза писателей отвезли меня на север Шэньси, где я вновь увидел давно оставленную бухту Цинпин. Позже Хун Фэн пригласил меня в Чанчунь на вручение премии. В молодости отец много лет провёл в лесных районах Северо-Восточного Китая и потому узнавал почти все названия мест по дороге. Ма Юань всё собирался свозить меня в Тибет, но я спросил: «А крематорий прямо у трапа самолёта там есть?» Он так испугался, что в итоге повёз меня в Шэньян. В 1988 году Ван Аньи и Яо Юмин катали меня по улице Хуайхай. Они не знали, что просьба «выбрать сестре шерстяной свитер» была лишь предлогом: в ту пору я снова влюбился — и с тех пор с любимой не расставался. Шао Гун, Цзянун, Хэ Ливэй и ещё целая компания даже подняли меня на борт торпедного катера Южно-Китайского флота. Мы лишь ненадолго вышли в прибрежные воды, но я уже почувствовал силу океана: волны, на вид мягкие, когда тебя швыряет из стороны в сторону, вдруг становятся твёрдыми, как камень. С братом Чжэн И я побывал и на горе Утай. У «Пещеры Матери Будды» машина потеряла управление и едва не сорвалась с обрыва — её остановил огромный валун. Все закричали: «Вот это машина...» А я подумал: «Наверное, среди нас есть счастливый полководец. Да это же я! Разве вы не видите иероглиф счастья на моей коляске?» В 1996 году Май Пин пригласила меня на конференцию в Стокгольм — это была моя первая поездка за границу. Когда самолёт пошёл на посадку, мне пришла в голову удивительно учёная мысль: «Так зарубежные страны и вправду существуют!» На следующий год Ли Чжэ провёз меня едва ли не через половину Америки. Почки уже отказывали, и увидеть всё — бескрайние пустыни, каньоны, водопады, игорные города — было нелегко. Ли Чжэ, когда-то изучавший медицину, усмехнулся, понюхал мою мочу и сказал: «Ничего страшного: запах сильный — значит, токсины выходят». На самом деле он всё понимал. Он торопился пригласить меня, потому что боялся: когда начнётся

диализ, я уже не смогу поехать. Его жизненная философия всегда сводилась к вопросу: в чём смысл жизни — просто в том, чтобы оставаться живым?

О ком я вспоминаю, глядя на коляску с иероглифом «#» — «счастье», «благословение»? Все эти люди уже состарились, некоторых нет в живых. Дни, когда они возили, носили и подхватывали меня на руки по всей стране, остались в памяти. Коляска стала неизгладимым свидетельством нашей неизменной привязанности. Я уже говорил: в моей жизни, по сути, есть две главные темы — инвалидность и любовь.

Мне уже почти шестьдесят, и крутить рычаги коляски я больше не могу. После диализа трудно управляться даже с обычным креслом. Увидев мою нужду, Бог словно послал мне электрическую коляску, временно выставленную в магазине медтехники на Ванфуцзине. Жена заметила её во время покупок. Цена — 35 000 юаней. Она снова и снова торговалась с продавцом: 29 000? 27 000? 26 000? «Ни юанем меньше, госпожа». «Ладно, ладно, — усмехнулась про себя госпожа Сими, — даже если вы не уступите ни гроша, всё равно куплю!» Машина и правда забавная: собаки бегают вокруг и лают, дети спрашивают взрослых, как она может двигаться сама. Говорят, собака по развитию сравнима с ребёнком четырёх-пяти лет, но даже ей трудно признать эту коляску транспортом. А мне она действительно подарила свободу: дома я могу ездить куда захочу, на улице — мчаться во весь дух, будто танцевать или играть в мяч; дайте только пандус — и я поднимусь в гору. Впрочем, танцевать мне всё-таки не суждено. В мяч я тоже играю уже неважно, да и соперников нет: умеющие играть раздражаются из-за меня, неумеющие — раздражают меня. Зато спустя более тридцати лет я наконец поднялся на гору — на Холм Долголетия у озера Куньмин.

Кто бы мог подумать, что я ещё раз окажусь в горах!

Кто бы поверил, что я поднимусь на гору сам!

С вершины я смотрел на дорогу и огромный шумный город и вспоминал слова Ван Гога, обращённые к Тео: «Я странник на земле, и здесь на меня возложено многое». «В сущности, мы странствуем по земле и лишь учимся понимать жизнь». «Мы приходим издалека и уходим вдаль... Мы паломники и странники на земле».

Глядя, как вдали поднимаются и опускаются облака, я вспомнил строки: «Эй, Хими, Хими, / я боялся, что попал не туда, / но кто бы мог подумать, что встречу тебя!» Если добавить в конце слова Ван Гога, получится почти законченное стихотворение.

С горы я смотрел в сторону Храма Земли и думал о парке, где «повсюду, куда вели следы моих колёс, оставались и следы матери»; о «туманных рассветах и ясных солнечных днях...»; о том, как я «останавливался у старого кипариса, на траве, возле осыпавшейся стены — днём, когда всё звенело от насекомых, и вечером, когда птицы возвращались в гнёзда...». Я вспоминал и свой прежний вопрос: «Разве путь, который я прокладывал пером на газетных и журнальных страницах, не был тем путём, о котором мечтала мать?.. Но каким именно был путь, на который она надеялась?»

И вдруг мне пришли слова: «Спрашивать дорогу из инвалидного кресла». Да, чем я занимался все эти пятьдесят семь лет? Спрашивал дорогу из инвалидного кресла — только и делал, что спрашивал дорогу! Но речь не просто о человеке по имени Ши Тешэн, который ездит по этой планете в коляске и задаёт вопросы. И не только о том, как я пытался понять самого Ши Тешэна в этом незнакомом мире. Скорее, речь о бесконечном пути, на который указывает выражение «колесо Дхармы непрестанно вращается»: о бесконечной скорби и сострадании, бесконечной пустыне и пробуждении; о том, как отвечать на вечное вращение колеса бытия бесконечными вопросами и молитвой. Ницше сказал: «Люби свою судьбу». Любовь к судьбе — высшая форма любви. Любить судьбу — значит любить Бога, создавшего бесчисленное множество судеб. Но сумеете ли вы не возненавидеть Его, если вам достанется несчастная доля? Любить судьбу — значит любить все живые существа. Но разве вам стало бы легче, выпади

та же беда другому? Слова Ван Гога о познании жизни ясно говорят: этот незнакомый мир — всего лишь пейзаж или встреча на пути души, а впереди нас ждут новые, бесконечные вопросы.

Моя мечта

Вероятно, человек особенно жаждет того, чего ему недостаёт. Я не могу двигать ногами, но страстно люблю спорт. Смотрю не только футбол, баскетбол и другие игры с мячом, но и лёгкую атлетику, плавание, бокс, коньки, лыжи, велогонки и автоспорт — словом, болею почти за всё. Разумеется, наблюдать приходится по телевизору: к трибунам стадионов ведут высокие ступени, которых мне не преодолеть. Если в программе намечается важное соревнование, я с самого утра живу как в праздник; одна мысль о предстоящей трансляции делает прекрасной каждую минуту дня. Иногда я даже тревожусь, когда множество крупных стартов приходится на один-два дня — как на недавно завершившейся Олимпиаде, — потому что тогда все прочие важные дела остаются без внимания.

На втором месте у меня футбол, на третьем — литература, а на первом — лёгкая атлетика. Я помню мировые рекорды, имена их обладателей и сроки, в течение которых они держались. Например, мужской рекорд в прыжках в длину принадлежит Бимону и остаётся непобитым уже двадцать лет. В этом есть доля несправедливости: Бимон прыгнул на 8,90 метра в высокогорном Мехико, а Льюис показал на равнине 8,72 метра — по реальной ценности этот результат, пожалуй, выше, хотя мировым рекордом не считается. Так уж вышло, что цифры остаются у меня в памяти. Но очарование лёгкой атлетики не в рекордах — человеку всё равно не одолеть Бога. Оно в том, как в беге и прыжке раскрываются человеческая сила, воля и грация. Для меня это прекраснее танца: рядом с естественностью движения спортсмена любой танец может показаться нарочитым, даже манерным. Возможно, я просто мало видел хороших танцев. Но когда бегут Льюис или Мозес, кажется, будто они несутся от самых истоков человечества навстречу его бесконечному будущему; их тела, стремительные, как ветер и вода, — самый естественный танец и самая свободная песня.

Больше всех я люблю и почитаю Льюиса. Рост 1,88 метра, широкие плечи, длинные ноги — чёрный гепард. Он легко выбегает из десяти секунд и одним прыжком преодолевает восемь метров. Даже на важнейших соревнованиях его движения остаются плавными, ловкими и ритмичными; тут не приходится, как после выступления иной эстрадной звезды, гадать, хорошо ли она спела. К чему я веду? Пусть читатель смеётся, но я нередко тайно молюсь Небу: если загробная жизнь существует, мне ничего не нужно — только тело, как у Льюиса. Правда, я представляю, что в следующем мире люди в среднем станут выше, поэтому мой рост должен быть не меньше 1,9 метра; и стометровку там будут бегать быстрее, так что 9,9 секунды окажется недостаточно. Писатели часто мечтают. К счастью, мои мечты не обескураживают меня. Я придумал этот способ, чтобы утешать и подбадривать себя: реальный Ши Тешэн выглядит слишком уныло. Моё восхищение Льюисом росло с каждым днём. Я считал его самым счастливым человеком на свете и думал: будь хоть какая-то возможность стать им, я заплатил бы любую цену. Если в следующей жизни мне достанется такое здоровое тело, нынешние мучения от инвалидности окажутся вполне достойной платой.

В тот полдень, когда Джонсон победил Льюиса на Олимпийских играх, я был потрясён. Сердце болело всю ночь, я почти не спал. Перед глазами снова и снова возникала одна сцена: все приветствуют Джонсона, колышутся флаги и цветы, толпа репортёров уводит победителя со стадиона, а Льюис остаётся один. Его растерянный, почти детский взгляд пронзил меня. Несколько дней я ходил подавленный и всё думал, как тяжело ему, должно быть. Я не хотел видеть повтор забега, не хотел слышать разговоров о нём и даже ревновал Джонсона к Льюису. Я убеждал себя, что Льюис всё равно лучший, — разумеется, безуспешно. Кажется, я был опустошён сильнее самого Льюиса. Странно, не правда ли? Со стороны это могло выглядеть безумием. Я долго искал причину. Разбился прекрасный кумир? Но тогда, немного посетовав, я мог бы восхититься Джонсоном: его мастерство не уступало мастерству Льюиса. Слишком

сильна моя ностальгия, слишком консервативна душа? Но я прекрасно понимаю: появление нового победителя — повод для радости. Мне жаль, что Льюис плохо выступил? Нет, 9,92 секунды были его личным рекордом. Так в чём же дело? Наконец я понял: я увидел несчастье того, кого считал «самым счастливым человеком». Растерянность Льюиса разрушила само моё представление о таком счастье. Бог никому не присваивает звание самого счастливого: перед желанием каждого Он оставляет вечную дистанцию и каждому справедливо назначает предел. Если человек не находит способа превзойти собственные ограничения... Если понять природу счастья, то неспособность Ши Тешэна бегать и неспособность Льюиса бежать ещё быстрее равнозначны: обе становятся источником разочарования и боли. Не понимай Льюис этого, в тот полдень он, пожалуй, был бы самым несчастным человеком на земле.

На следующий день после финала стометровки Льюис прыгнул в длину на 8,72 метра. Он был великолепен. Похоже, он всё понимал: олимпийский огонь горит не ради победы одного человека над другим, а ради возможности явить богам неукротимый дух человечества. Предопределённые пределы могут существовать вечно, но столь же вечен дух, бросающий им вызов. Я не берусь утверждать, что Льюис думал именно так, но хочу в это верить. Такого Льюиса я глубоко уважаю и люблю.

Значит, мою мечту нужно пересмотреть. По крайней мере, я уже не готов обменять всё, чему научился, на тренированное тело, рост выше 1,9 метра и результат 9,79 или даже 9,69 секунды. Причина проста: не хочется в каком-нибудь полудне следующей жизни оказаться самым несчастным человеком. Даже 9,59 секунды всё равно обозначат предел. Я мечтаю и о сильном теле, и о душе, понимающей смысл жизни. Первое можно получить как дар Божий, второе обретается через бесчисленные испытания. Как же устроить мечту так, чтобы в ней было и то и другое? Не спрашивайте: «А если придётся выбирать?» Не надо. В жизни человеку необходима прекрасная мечта.

Позже выяснилось, что результат Джонсона — 9,79 секунды — был достигнут с помощью допинга. Что тут скажешь? В газете я прочёл слова жителей его родного города на Ямайке: «Мы с радостью примем Джонсона, когда бы он ни вернулся. Какую бы ошибку он ни совершил, он всё равно сын Ямайки». Эти слова глубоко меня тронули. Разве души, получившие рану, не заслуживают ещё большего сострадания и любви, чем израненные тела?

Когда мне был двадцать один год

В неврологическом отделении больницы «Дружба» было двенадцать палат. Если не считать палат № 1 и 2, я успел побывать во всех остальных десяти. Гордиться тут, конечно, нечем. По моему опыту, даже самые заносчивые люди, очутившись на больничной койке, быстро становятся смиренными. Палаты 1 и 2 были реанимационными — оттуда до небес один шаг. Бог решил, что мне ещё рано там задерживаться.

Девятнадцать лет назад отец впервые помог мне войти в эту больницу. Тогда я ещё мог ходить, но каждый шаг давался с трудом и причинял мучительную боль. В тот день я решил: либо выздоровею, либо умру — в таком состоянии отсюда больше не выйду.

Стоял полдень. Кроме приглушённого храпа больных, в палате слышались лишь лёгкие шаги медсестёр. Всё вокруг было белым, в солнечных лучах стоял запах лекарств. Как верующий, входящий в храм, я ощутил прилив надежды. Женщина-врач проводила меня в палату № 10, наклонилась и тихо спросила на ухо: «Вы обедали?» Я ответил вопросом: «Как вы думаете, мою болезнь ещё можно вылечить?» Она улыбнулась. Я не помню её слов, но помню, как после них немного разгладилось тревожное лицо отца. Когда врач лёгкой походкой вышла из палаты, у меня навсегда осталось предубеждение: женщины особенно созданы для врачебного дела, а белый халат — самая изящная их одежда.

Это было на следующий день после моего двадцать первого дня рождения. Я ничего не понимал ни в медицине, ни в судьбе и не представлял, насколько тяжёлым бывает поражение спинного мозга. Устроившись поудобнее, я крепко уснул. Думал: десять дней, месяц, ну пусть даже три месяца — и вернусь к прежней жизни. Так же считали одноклассники, с которыми меня когда-то отправили в деревню: навещая меня, они приносили целые стопки книг.

В палате № 10 стояло шесть коек; моя была шестой. На пятой лежал крестьянин, с нетерпением ожидавший выписки. «Одна койка стоит 1,15 юаня в день — сам посчитай», — говорил он. «Разве эта смертельная болезнь стоит таких денег?» — отзывался больной с третьей койки. «Ну вот, уже сдался! “Умру, умру” — какой же ты пессимист». Старик с четвёртой койки возражал: «Нет-нет, председатель Мао говорил: раз уж пришёл — оставайся и используй время с пользой». Крестьянин улыбнулся мне, но сказал остальным: «У вас-то у всех лечение за государственный счёт». Он знал, что я по-прежнему числился среди бедных и низших середняков. Больной на первой койке молчал: как только к нему вернётся речь, его можно будет выписывать. На второй лежал важный человек, одним видом внушавший окружающим почтение. Он благополучно забыл все существительные — даже собственное имя. В его речи всё превращалось в «это» и «то», поэтому, рассказывая о самых громких событиях, он не мог объяснить, кто именно их совершил. Старик с четвёртой койки шутил: «Очень удобно — никого не обидишь».

Я промолчал. Короткое чувство облегчения тут же исчезло. За койку — больше юаня в день — платили из зарплаты родителей; лекарства и питание, ещё несколько юаней ежедневно, — тоже. Из-за моего лечения семья уже погрязла в долгах. Я сразу подумал о словах крестьянина: когда же выпишут меня? Пришлось разжать стиснутый кулак и напомнить себе: это больница, не дом. Здесь никто не станет терпеть моих вспышек; если я что-нибудь разобью, расплачиваться опять придётся родителям. К счастью, рядом лежали книги. Немного успокоившись, я углубился в чтение. Хорошо, пусть три месяца! Я наивно согласился на этот срок.

Но через три месяца меня не только не выписали — мне стало хуже.

Тогда меня перевели в двухместную палату № 7, где я делил комнату с больным со второй койки. Сосед был человеком необычным: начальник бюро, чиновник одиннадцатого ранга — всего на ступень ниже тех, кому полагалась отдельная палата специального отделения. Палата № 7 была единственной двухместной в обычном отделении и потому считалась ближайшей к одноместной; её обычно отдавали тем, кто почти достиг десятого ранга. Говорили, перед

нами отсюда выписался чиновник тринадцатого ранга. Присутствие моего соседа никого не удивляло. Но как оказался там я? Старшая медсестра объяснила: «Этот парень любит читать», — а заодно попросила помочь соседу вспоминать существительные. «Посмотрите, он даже не знает, кто он такой». Именно эта забывчивость делала начальника бюро всё более симпатичным: ведь и словосочетание «начальник бюро» было существительным, которое он утратил, и наши отношения становились всё более равными и непринуждёнными. Однажды он спросил: «А ты чем занимаешься?» — «Меня отправили работать в деревню». Он оживился: «Мои эти тоже, оба этих...» — и показал рукой рост примерно на полголовы выше себя. «Два сына?» — «Да, сыновья. Хорошо! Революционер не должен бояться трудностей, надо быть вместе с народом». Потом добавил: «Я и сам оттуда». — «Из деревни?» — «Да-да. Как ты сказал?» — «Из деревни». — «Верно, из деревни. Нельзя забывать корни!» Я спросил, где его родина. Он схватился за голову и долго мучительно вспоминал; тут я ничем помочь не мог. Наконец выругался и махнул рукой: «И это потерял». Затем поднял над головой два пальца. «Коров пас?» Он покачал головой и опустил руку ниже. «Овец?» — «Да, овец. Овец пас». Он лёг, заложил руки за голову и долго, с тихой улыбкой, смотрел в потолок. Врач объяснил, что это синдром угловой извилины — амнестическая афазия: прочая память, особенно давняя, сохраняется очень хорошо. Я подумал: начальник бюро и в болезни остаётся начальником бюро — пожалуй, опыта у него побольше моего. Вдруг он снова сел: «А этот как?» — «Младший сын?» — «Да!» Он сердито вскочил: «Ах, негодник!» И принялся рассказывать. Сын захотел жениться, и отец согласился помочь. Потом пришло письмо с просьбой прислать денег: сын собирался что-то устроить. Сосед обвёл рукой палату, и я решил, что речь о сельском медпункте. «Ладно, сколько нужно — дам. Но этот парень!...» Он прошёлся по комнате, заложив руки за спину, затем остановился и развёл руками: «Он ещё и жениться там собрался!» — «В деревне?» — «Да, в деревне». — «На крестьянке?» — «На крестьянке». По моим тогдашним представлениям, подкреплённым газетами и радио, это было достойно уважения. «Значит, решил пустить корни в деревне», — восхищённо сказал я. «Как бы не так! — воскликнул сосед. — А ты сам разве не хочешь вернуться?» Я растерялся. Увидев моё лицо, он топнул ногой: «Разве ты не хочешь продолжать революцию?» Тут я понял. Какой бы ни была эта революция, искренность моего соседа утешала.

Но разгадывать подобные противоречия было уже некогда. Зима почти кончилась, а я больше не мог выйти во двор даже на костылях. Ноги немели всё сильнее, мышцы неудержимо атрофировались. Вот о чём следовало тревожиться по-настоящему.

Остаться в палате № 7 мне позволили из сочувствия. Я был очень молод, лечение семья оплачивала сама, а врачи и медсёстры уже понимали, насколько мрачен прогноз. Кроме того, я любил читать. В эпоху, когда считалось, будто «чем больше знаний, тем человек реакционнее», медики особенно привязались к читающему юноше. Они и правда относились ко мне как к ребёнку; многих их собственных детей во время Культурной революции тоже отправили в деревню. Старшая медсестра не раз хвалила меня перед матерью и всегда заканчивала вздохом: «Ах, этот ребёнок...» В этом вздохе слышалось бессилие современной медицины. Другого способа помочь не было: мне дали лучшее, более тихое место, где можно читать. Наверное, они надеялись, что книги подскажут «этому ребёнку» дорогу.

Но читать мне расхотелось. Целыми днями я лежал и прислушивался к шагам за дверью: хотел, чтобы они остановились, дверь распахнулась и кто-нибудь вошёл, — и одновременно желал, чтобы шаги прошли мимо и меня оставили в покое. В душе звучала тоскливая молитва: «Боже, если не хочешь забрать меня к себе, оставь хотя бы ноги, на которых можно ходить!» Когда рядом никого не было, я и вправду складывал ладони и вслух давал обеты. Спустя годы я услышал изречение неизвестного философа: «Среди прикованных к постели трудно найти атеиста». Теперь мне кажется, спор о существовании Бога неразрешим; но в минуты, когда судьба рушит все расчёты, человек естественно отступает от науки и с благоговейной надеж-

дой обращается к пустоте. Самые прекрасные человеческие стремления тоже ещё не получили доказательств — и всё же не угасают.

Лечащий врач приходил каждый день и задерживался у моей койки дольше всех: «Главное — не волнуйтесь». По правилам заведующий отделением обходил палаты раз в неделю, но ко мне нередко заглядывали сразу несколько руководителей: «Как вы себя чувствуете? Так, главное — не тревожьтесь». Порой приходили все врачи отделения — в рабочее и свободное время, по одному и группами. Осмотрев меня и обменявшись мнениями, каждый повторял: «Не волнуйтесь, хорошо? Пожалуйста, не волнуйтесь». По этой осторожности я постепенно понял: будь причиной опухоль, её можно было бы вырезать и выбросить, а я ещё смог бы ходить. Во всех остальных случаях я, вероятно, навсегда лишился способности, которую предки развивали миллионы лет.

За окном маленький сад уже пылал цветами персиков и молодой зеленью ив. Ни одна из двадцати двух прожитых мною весен не трогала сердце так глубоко. Я уже не смел завидовать здоровым людям, гулявшим среди деревьев, или молодёжи, игравшей на дорожках в бадминтон. Помню, как долго смотрел на старика в больничной одежде: он неторопливо ходил по траве и грелся на солнце. Вот оно — всё, чего я хотел! Этого было бы достаточно. Я вспоминал прикосновение мягкой травы к ступням, возможность идти куда угодно, привычное удовольствие пнуть камешек и шагать следом. Тот, кто этого не терял, не поверит: такое невозможно вспомнить по-настоящему. Старик ушёл, а я всё смотрел на клочок травы. Солнечный свет медленно бледнел, рассеивался, затем сгущался в одинокое тускло-красное пятно и шаг за шагом поднимался по стене к крыше... Я вывел неровную строку: «Чуть приоткрою малое окно — и косой луч весны войдёт в мой мир». Позже я специально приехал к тому месту на коляске и посмотрел оттуда на окно палаты № 7. Я гадал, кто теперь лежит за стеклом и какую судьбу приготовил ему Бог. Самого больного Бог, разумеется, не спрашивал.

Я молил Бога, чтобы всё оказалось лишь временной жестокой шуткой — доброкачественной опухолью в позвоночнике. Пусть она растёт в спинномозговом канале, только снаружи мягкой оболочки, чтобы её можно было удалить, не задев драгоценный спинной мозг. «Так ведь, доктор?» — «Кто вам это сказал?» — «Но ведь так?» — «Так. Только на опухоль это не похоже». Я словно писал глазами: «Боже, благослови», — думая, что, повторив эти слова тысячу раз, заслужу милость и диагнозом окажется опухоль, доброкачественная опухоль. Пусть даже злокачественная, способная убить меня, — это тоже было бы приемлемо. Только бы опухоль, Боже!

Друг принёс пакет семян лотоса. От скуки я взял несколько и замочил в бутылке, а потом подумал: не загадать ли? Если прорастут — значит, болезнь вызвана опухолью. Я долго не решался доверить судьбу такому знаку. Но через несколько дней семена проросли сами. «Хорошо, рискну», — решил я. Пожалуй, склонность к таким испытаниям была во мне всегда; сам выбор риска уже означал, что я верю в благоприятный исход. Лотосы непременно вырастут! Я ежедневно менял воду, утром переставлял бутылку к западному краю подоконника, вечером — к восточному, чтобы ростки всё время были на солнце. Ради нескольких шагов приходилось цепляться за кроватьную спинку и подоконник и обливаться потом. О своём гадании я никому не говорил. Вскоре появились круглые листья. «Круг» — ещё один добрый знак. Я заботился о ростках всё бережнее, потом откидывался на подушку, тяжело дыша, и смотрел на них; ночью просыпался и разглядывал в лунном свете: вот-вот судьба переменится. Тут я вспомнил, что по-китайски слова «лотос» и «жалость» созвучны, и благоговейно подумал: неужели Бог наконец сжалился надо мной? Никто не узнает, пока я сам не расскажу. Листья поднялись над горлышком бутылки; праздные посетители тянулись их потрогать, но я не позволял. Чем настойчивее они были, тем горячее я молился: никто не узнает, пока я не расскажу. Однако наука победила, раз за разом заявляя: опухоли нет, нет и нет. Значит, Бог вмешался прямо в нежную ткань спинного мозга. В день окончательного приговора я метался, словно

несправедливо осуждённый дух: пытался встать и думал, почему не могу побежать и бросить вызов этому бессердечному Богу. Итог был прост: если не разобьёшься насмерть, то поймёшь — Бога действительно не одолеть.

Весь день я молча лежал лицом к стене. Сначала в голове было пусто, потом её заполнила мысль о смерти. Пришла заведующая Ван. Я никогда не забуду эту пожилую женщину — как и старшую медсестру Чжан. Восемь и семнадцать лет спустя я дважды по-настоящему приблизился к смерти, и обе помогли вернуть меня к жизни. Заведующая долго сидела позади, не произнося ни слова. Потом заговорила. Сказала она немного, и смысл был такой: «Почему бы вам не почитать? Вы ведь любите книги. Разве нельзя проживать каждый день полно? Когда начнёте работать и будете так заняты, что времени не останется, ещё пожалеете, что упустили эти месяцы». Разумеется, её слова не уничтожили мысль о самоубийстве, но пригодились мне на всю жизнь. В последующие годы влечение к смерти возвращалось не раз; прежде чем сделать последний шаг, я вспоминал заведующую Ван — и продолжал жить. Удерживало меня многое, я писал об этом отдельно; её совет не растрачивать дни впустую был одной из причин. Постепенно, через конкретные дела, ко мне вернулись желание жить и чувство собственного достоинства. Однажды я приехал к ней в больницу и подарил свою книгу. Волосы у неё стали совершенно седыми; выйдя на пенсию, она всё равно работала с утра до вечера. Глядя на неё, я подумал: должно быть, ещё тогда она знала, что я не умру, и потому указала верное направление. Но кто и какие выводы сделал после моего переезда из палаты № 7, распутывая тот клубок нервов, я не знаю. Это тайна, о которой сейчас незачем говорить. А если бы я тогда всё-таки умер? Когда-нибудь хочу спросить заведующую Ван. Возможно, она ответит: «Если человек действительно решил умереть, никто его не остановит». Или: «Если не видишь ценности жизни, рано или поздно захочешь смерти». Или: «Размышлять о смерти не всегда плохо — поняв её, живёшь свободнее». А может быть: «Нет, тогда ты был далёк от смерти: у тебя было слишком много хороших друзей».

Больница «Дружба» — какое хорошее название. «Тунжэнь», «Сехэ», «Боай», «Цзи» тоже звучат достойно, но одни холодноваты, другие слишком торжественны. Ни одно не обладает такой простой теплотой, как «Дружба». Возможно, это лишь моё пристрастие. К концу моего двадцать первого года ноги окончательно отказали, но я остался жив — во многом благодаря этой больнице. Одноклассники, всё ещё работавшие в деревне, писали мне: то мягко уговаривали, то резко бранили, стараясь вернуть волю к жизни. Те, кто уже вернулся в Пекин, приходили и в установленные часы, и вопреки правилам. «Как вас пропустили?» — «Да просто сделали вид, что не заметили, и прошли». Люди, привыкшие ездить по стране с одним билетом на перрон, находили дорогу куда угодно. Позже меня перевели в палату «Плюс». Изначально это была крошечная лестничная площадка, превращённая в комнату, где помещалась только кровать. Узкая, как дымоход, она всё же была отдельной палатой — не десятый чиновничий ранг, но и не одиннадцатый, а своего рода десять с половиной. Врачи и медсёстры снова проявили заботу: видя, сколько у меня молодых друзей и как шумно мы смеёмся и спорим, они не хотели ни тревожить других больных, ни лишать меня радости. Окно выходило на улицу, кровать стояла вплотную к нему. Там я пережил самые счастливые дни своего двадцать первого года. По утрам тихо сидел у окна и читал; многие классические книги вошли в мою жизнь именно тогда, тогда же я всерьёз занялся иностранными языками. После обеда смотрел на улицу — на молодых велосипедистов и особенно на остановку автобуса № 5, откуда могли появиться друзья. На время я перестал думать о смерти. Они приносили книги, вести из внешнего мира, утешение и радость, знакомили с новыми людьми; те приводили ещё кого-то, и вскоре все становились старыми друзьями. В последующие годы круг дружбы расширялся вокруг меня и всё глубже входил в сердце. За закрытой дверью палаты «Плюс» мы смеялись, шутили, свободно обсуждали что угодно, а порой тихо пели шааньсийские народные песни и песни образованной молодёжи, отправленной в деревню. Вечером друзья расходились, и при тусклом свете маленькой

лампы я начинал подумывать о собственных текстах — так вспыхнуло первое желание писать. Я ненадолго забыл о смерти. Почему? Потому что во мне уже мерцала тень любви. Ей ещё предстояло долгие годы приносить счастье и боль, а главное — страсть, способную вывести жизнь из долины смерти. И счастье, и боль станут вечным сокровищем, священной памятью.

В больницу «Дружба» я попадал трижды — в двадцать один, двадцать девять и тридцать восемь лет — и каждый раз выжил во многом благодаря ей. В последние два раза не я искал встречи со Смертью — это она проявила интерес ко мне. Когда температура поднялась выше 40 градусов, друзья привезли меня сюда. В терапевтическом отделении признались, что не умеют лечить парализованных пациентов; доктор Бай разыскала заведующую Ван и старшую медсестру Чжан, и меня снова поместили в неврологию. Особенно тяжёлым был случай в двадцать девять лет: жар не спадал, меня мучили сонливость и рвота, почти три месяца я не переносил запаха еды и получал лишь глюкозу внутривенно. Давление тоже скакало: сначала диастолическое достигло 120, затем систолическое упало до 60. Врачи боялись, что зиму я не переживу; казалось, почки вот-вот окончательно откажут. Положение было почти безнадёжным, способов лечения не находилось. Одноклассница посоветовалась с доктором Бай, затем они обратились к доктору Тан. Говорить ли отцу? Решили, что нет: это только причинит ему лишнюю боль. Обязанности распределили так: одноклассница и доктор Бай займутся всем, что потребуется после моей смерти, и тогда объяснят отцу; доктор Тан будет заботиться обо мне, пока я жив. «Хорошо, — сказала она, — оставлю его здесь под видом учебного случая. Раз жив, надо искать выход». Есть поговорка: пока человек не умер, даже духи не знают, что с ним делать. Зиму я пережил и, похоже, получил шанс дотянуть до следующего столетия. Доктор Тан была той самой молодой врачом, которая встретила меня в палате № 10; через восемь лет это оставалась та же изящная и добрая женщина, только на висках появилась седина. Ещё через девять лет, во время моей третьей госпитализации, её уже не было. Узнав о моём возвращении, старые врачи и медсёстры приходили поздороваться, похвалить роман, поговорить. Лишь доктор Тан не могла прийти — её не стало. Я однажды подъехал на коляске к её могиле и возложил маленький венок. Все повторяли: «Она умерла от переутомления, наверняка от переутомления». Я навсегда запомню тот полдень, когда она встретила меня в палате и тихо спросила: «Вы обедали?» Как она могла исчезнуть так внезапно? Ей было немногим больше пятидесяти. Это невозможно объяснить, в этом нет логики. Наверное, сама судьба где-то утратила рассудок.

Надеюсь, поколению доктора Бай достанется более счастливая судьба. «Доктор Бай» я говорю лишь при пациентах; обычно называю её Маленькой Бай, а она меня — Маленьким Ши. В шутку она именует себя моим «личным врачом», но в её словах больше правды, чем шутки. Последние два года я зову её Старой Бай, а она меня — Старым Ши. Девятнадцать лет назад, поздней осенью, в палате появилась новая врач — с короткими косичками, длинным шарфом и чёрными вельветовыми туфлями. Она свободно говорила по-пекински, но в облике ещё чувствовалась деревенская простота. «Вас тоже отправляли в деревню?» — спросил я. «И вас?» По ответу стало ясно: она уже всё знает. «Какой у вас был выпуск?» — «Второй класс средней школы. А у вас?» — «Шестьдесят восьмой год, первый класс. Куда вас направили?» — «На север Шэньси. А вас?» — «Во Внутреннюю Монголию». Этого было достаточно: мы сразу поняли друг друга. Такое знакомство характерно для нашего поколения; несколько вопросов мгновенно сближают людей. Думаю, и через десятилетия старики будут обмениваться этими формулами как самым сокровенным приветствием и самым надёжным способом узнать своего; будущие лингвисты станут исследовать их и защищать серьёзные диссертации. Как наше поколение получало высшее образование? В четырнадцать-пятнадцать лет мы бросили школу, в семнадцать-восемнадцать отправились в деревню, через несколько лет вернулись в города и получили работу, которой другие избегали. Но после деревенской жизни какая работа могла нас испугать? Жажда знаний не исчезла: в свободное время мы занимались сами и наконец

поступили в вузы. После выпуска на нас вновь смотрели свысока — называли «студентами из рабочих, крестьян и солдат». Чтобы избавиться от ярлыка, приходилось сдавать бесчисленные экзамены. Наше поколение и правда сдало их невероятно много. Затем мы удвоили усилия и делом доказали и старшим, и младшим, что заслужили свои дипломы. Таков типичный путь нашего поколения к образованию — и далеко не самый тяжёлый. Маленькая Бай стала Старой Бай, молодой врач — доктором Бай; я знаю её дорогу, потому что мы дружим много лет. Примерно тем же путём прошёл её муж, теперь и он мой друг. Даже их сын зовёт меня Старым Ши. Размышляя об этом, я понимаю: самое завидное в судьбе Старого Ши — то, что он всегда жил среди друзей. Кто знает, может быть, всё началось с того, что в двадцать один год я попал в больницу «Дружба».

Иногда, когда я говорю, что живу словно в укромном раю, в ответ слышится насмешка: будто это самолюбование или самообман. Я решительно не согласен. Я не живу в оторванном от мира раю и не верю, что такой рай существует. Но я верю в земной источник добра; он действительно есть. Не будь его, возможно, никто не захотел бы продолжать жить. А когда этот источник мелеет, сарказм уж точно не способен наполнить его. Тысячелетиями он существовал и как реальность, и, ещё прочнее, как вера. Он рождается в сердце и возвращается к сердцу, действует на сердце и обнаруживает себя через него — потому и существует. Чем укрепить его, если не искренностью?

Некоторые говорят, что я всегда жил в сказке; в их голосе одобрение смешивается с предостережением. Такое сочетание убедительно. Предостережение не призывает отгородиться от сказки — оно лишь напоминает: слабость сказок не в том, что они слишком прекрасны, а в том, что, входя в более сложный и суровый мир, они могут оказаться слишком хрупкими.

В сущности, уже в двадцать один год Бог дал мне этот знак: чуть приоткрыл великолепную сказку — и вместе с ней вечную загадку.

Когда я лежал в палате № 4, там оказался семилетний мальчик из далёкой горной деревни. Однажды прошёл слух, что к их селению проложат шоссе. Дети ждали его как чуда, и наконец дорога появилась, а по ней пошли машины. Сначала ребята смотрели издали — удивлённые и робкие. Потом придумали опасную забаву: незаметно от родителей цеплялись сзади за грузовики и ехали, испытывая восторг. Лишь однажды, всего один раз, мальчик не удержался и упал. В больницу его привезли уже неспособным бегать; мышцы рук и ног быстро слабели. В палате ему было скучно, и он становился всё беспокойнее. Больные спрашивали: «Расскажи, как ты поранился». Он тут же опускал голову и замирал. «Ну скажи». — «Что сказать?» — шептал ребёнок. — «Почему не рассказываешь? Забыл?» — «Я цеплялся за грузовик, — едва слышно отвечал он. — Я был непослушным». Он искренне признавал вину. Все молчали: взрослые знали, что повреждён спинной мозг и рана необратима. Мальчик не смел пошевелиться и вытирал слёзы иссохшими ладошками. Наконец кто-то мягко, печально спросил: «Больше не будешь шалить?» Ребёнок узнал привычный путь к прощению и энергично замотал головой: «Нет, нет, не буду!» Он даже вздохнул с облегчением. Но на этот раз всё было иначе. Почему никто не сказал следом: «Вот и хорошо, справишься — снова будешь хорошим мальчиком»? Он широко открытыми глазами смотрел на взрослых, словно спрашивал: «Разве недостаточно, что я больше не буду шалить?» Он ещё не знал, что судьба допускает ошибки, которые совершают только однажды и уже не могут исправить; что бывает проступок, который почти не проступок — детская шалость, — но наказание оказывается необратимым. Мальчика прозвали Пять Яиц. Я помню его семилетним — ничего не знающим и не понимающим. Однажды ему неизбежно предстояло узнать правду; но сможет ли он её понять? Этот день станет концом сказки. Быть может, так и следует понимать финал всякой сказки: чтобы очистить жизнь, Бог задаёт ей жестокую загадку.

Когда я лежал в палате № 6, там я познакомился с парой примерно моего нынешнего возраста — около сорока. Они учились вместе. В двадцать четыре года мужчина собирался за границу: дата отъезда была назначена, багаж уложен. Но из-за ничтожной задержки поездку пришлось перенести на месяц, и именно в этот месяц несчастный случай оставил его парализованным. Женщина глубоко любила его и ждала. Сначала — выздоровления; затем, когда надежда слабела, — согласия на брак. Но он так и не решился. Год за годом накапливались внешние и внутренние препятствия. Он то тосковал по ней, то уговаривал уйти. Болезнь и любовь становились всё тяжелее, а она продолжала ждать. Наконец женщина приняла мучительное решение и уехала из Пекина работать в другой город. Однако разорвать связь было не легче, чем вернуться. Стоило получить три свободных дня, она проезжала тысячи километров до Пекина. К тому времени состояние мужчины ухудшилось: он был полностью парализован и лежал со мной в одной палате. Когда она уходила, он говорил: «Любишь человека — не должен причинять ему боль. Если не любишь, тогда зачем жениться?» Когда он засыпал, она признавалась мне: «Я знаю, что он любит меня, но не понимает, что именно так и мучает. Я правда хотела уйти, пыталась — бесполезно. Я не могу перестать его любить». После её отъезда он повторял: «Нет, она ещё молода, у неё есть шанс. Она должна выйти замуж; без любви жить нельзя». Когда он снова засыпал, она говорила: «Но что значит “шанс”? Для брака шанс может прийти извне, для любви — только из сердца». Позже я передал ему эти слова, и он тихо заплакал. «Почему вы всё-таки не женитесь?» — спросил я. «Ты не понимаешь? — ответил он. — Это трудно объяснить. Ты ещё живёшь в таком мире, где кажется, будто всё решают двое. Иногда двоим это не под силу». Тогда я и правда ничего не понял. При случае спросил женщину: «Почему же двое не могут решить?» — «Я не уверена, что согласна с ним, — сказала она. — Но иногда всё действительно слишком сложно. Даже если объясню, вы всё равно не поймёте». Прошло девятнадцать лет; теперь они, должно быть, состарились. Я не знаю, где они; слышал лишь, что в конце концов расстались. За эти годы я сам узнал любовь. Теперь, если бы двадцатидвухлетний юноша спросил, что это такое, я ответил бы: наверное, любовь невозможно объяснить до конца. Какова бы она ни была, принадлежит она не языку, а сердцу. Тайваньская писательница Саньмао сказала: «Любовь подобна дзену: о ней нельзя говорить, потому что, заговорив, уже ошибаешься». Это жестокая и притягательная загадка, которую Бог оставляет в финале сказки, чтобы мы вечно стремились к жизни.

Когда мне исполнился двадцать один год, друзья вынесли меня из больницы — такого исхода я не мог представить, когда поступал туда. Я не умер, но больше не мог ходить; и всё же надежда на будущее сохранилась. Я боялся: впереди будет немало неожиданного, я ещё не раз растеряюсь и молча попрошу: «Боже, помоги». Со временем я узнал Бога, у которого есть и более определённое имя — Дух. Когда наука теряется, а судьба приходит в смятение, человеку остаётся обратиться к собственному духу. Во что бы мы ни верили, наша вера в конечном счёте описывает этот дух и указывает ему путь.

Ю Гуанчжун

Так называемая ностальгия —
если она связана с расстоянием —
лечится билетом на самолёт или поезд:
он приведёт вас к знакомой двери,
и этим всё разрешится.
Но что делать, если дело во времени?
Все дороги здесь односторонние,
все двери закрыты,
и ни одна не ведёт назад.
— «Город без соседей»
Город без соседей
Один

Шесть лет назад я вернулся из Гонконга и с тех пор живу в Гаосюне. И наяву, и во сне мне смутно слышится шум волн в проливе. Старые друзья недоумевают: почему я уехал из Тайбэя? Я отвечаю: не я покинул Тайбэй — это Тайбэй покинул меня.

За годы на юге я почти не ездил на север без крайней необходимости. Порой, доведённый до отчаяния, даже провозглашал: «Отказаться от Тайбэя — значит положить начало счастью!» Тайбэй всегда первым заявляет права на всё: совещание, выступление, ужин, выставку. Стоило бы мне мчаться на север по каждому его зову — и я не смог бы зарабатывать на жизнь в Гаосюне.

Можно решить, что я бессердечен и почти неблагодарен. Но всё как раз наоборот. Я избегаю Тайбэя, редко туда приезжаю и боюсь этих поездок не потому, что забыл город, а потому, что не могу его забыть — мой Тайбэй, Тайбэй прошлого. Эта шумная котловина, долина юношеских мечтаний и воспоминаний зрелого возраста, хранит картины моей ранней жизни — мужа, отца, писателя, преподавателя, — и ещё более давних лет, когда я был студентом и только начинал взрослую жизнь. Яркие 1950-е теперь превратились в чёрно-белый фильм — мой Тайбэй. Прибываю ли я поездом «Гогуан» с северо-запада, экспрессом с юго-запада или самолётом China Airlines с северо-востока, вернуться в тот город уже невозможно.

Тайбэй словно одним прыжком перенёсся из 1980-х в 1990-е. Много из того, что читаешь в газетах, видишь по телевизору или встречаешь на улицах, отталкивает. Как бы пророки и шарлатаны ни толковали «переход», «многообразие» и «открытость», город не кажется гостеприимнее. Идёшь по восточной части улицы Чжунсяо — вокруг со всех сторон сияет яркий, надменный мир, но всё в нём далеко, ни за что нельзя ухватиться, ничто не удержать. Как охотник из старой легенды, очнувшийся от долгого сна, спустившийся с горы и попавший в незнакомую страну, бродишь по улицам Тайбэя.

Если ностальгия связана с географией, достаточно купить билет на самолёт или поезд и добраться до знакомой двери. Но если она обращена ко времени, все дороги односторонние, все двери заперты и ни одна не ведёт назад. За десять лет в Гонконге я стал странником во времени. Вернувшись к порогу Тайбэя с тяжёлым багажом воспоминаний, обнаружил: золотой ключ потерян, и я сам остался снаружи.

Даже когда я стучу, дверь открывает чужой человек — холодный и нетерпеливый.

«Тогда зачем ты перебрался в Гаосюн? — спросил друг. — Ты там вообще кого-нибудь знаешь?»

«Гаосюн не знал меня молодым, — ответил я, — а я не знал его прежним. Значит, терять нечего и можно начать сначала. С Тайбэем иначе: его прошлое слишком глубоко во мне, а

настоящее слишком переменялось. Тайбэйская котловина — моя долина эха; бесконечные отголоски окружают и преследуют меня, закручиваясь в вихрь воспоминаний».

Два

Переулок у улицы Сямэнь, конечно, по-прежнему существует. Тайбэй сильнее всего изменился на северо-востоке; на юге ковши экскаваторов разрушили гораздо меньше. Если вся Тайбэйская котловина — большая долина эха, то этот извилистый переулок — малая, в которой до сих пор отдаются мои давние шаги. Мой «родной переулок», переулок 113, соединяющий улицы Сямэнь и Тунъань, всё ещё на месте. У него богатая литературная история. В 1950-х примерно в середине находилось общежитие газеты «Новая жизнь», где часто можно было встретить Пэн Гэ. Некоторое время в конце переулка жил Пан Лэй. В эпоху «Литературного журнала» дом издателя Лю Шоуи служил одновременно редакцией; он стоял в другом маленьком переулке у улицы Тунъань, по диагонали от выхода из нашего. Поэтому в окрестных улочках нередко звучали оживлённые споры Ся Цзяня и У Луциня: разгорячённое лицо первого резко контрастировало со спокойным взглядом второго. Старый дом Ван Вэньсина в японском стиле прятался в тени деревьев в самом конце улицы Тунъань, у её пересечения с Шуйюань. До него можно было дойти пешком, и я часто бывал там. Разумеется, это происходило задолго до событий «Семейных перемен». Позже в переулок 113 переехала и семья Хуан Юна; между нашими домами было всего несколько шагов. Один порыв ветра одновременно раскачивал листья в обоих дворах.

Гераклит говорил: «Волны будущего накатывают без конца; каждый шаг ведёт в иное путешествие». Время течёт по гулкой долине длинного переулка, и все упомянутые люди разошлись. Лишь я, уроженец Сямэня, хранил уединённый переулок улицы Сямэнь до середины 1980-х, а затем наконец поручил этот бесприютный корень, эту собственность, которая мне не принадлежала, заботам появившихся позднее книжного магазина «Хунфань» и издательства «Эрья».

Каждый мой постоянный читатель знает улицу Сямэнь. Там прошла почти половина моей жизни; там умерла мать; там родились четыре дочери и семнадцать книг. Пусть это не родина, но уж точно мой квартал и мой старый дом. Начни я ходить во сне, полиция, скорее всего, нашла бы меня именно там.

И всё же в здравом уме я туда не возвращаюсь. Хотя почти каждый месяц бываю в Тайбэе, мне не хватает мужества вновь войти в переулок, не говоря уже о старом доме. Переулок расширили и выпрямили, но припаркованные машины сделали его ещё теснее. Исчезли низкие стены, затенённые гибискусом и бугенвиллией, исчезли густые тени; на их месте выросли многоэтажные дома и лес антенн. Когда-то тишину разрезал резкий цокот деревянных башмаков: он приближался издали и постепенно стихал. С улицы доносился чистый перезвон велосипедов — разносчиков утренних газет, школьников, возвращавшихся на закате, и продавцов на трёхколёсных тележках. Ночью появлялись другие голоса: тоскливые свистки массажистов и слепых торговцев, медленно проходивших мимо; низкие протяжные ноты звали тех, кто не спал допоздна, купить рисовые клёчки со свининой. Когда продавец поднимал крышку, пар от горячих клёчек взмывал в ночь — зрелище почти волшебное. Я никогда их не покупал, но, услышав крик торговца, понимал: кто-то в переулке делит со мной поздний час, и одиночество немного отступало.

Теперь всё это исчезло. Переулки расширили, но они стали теснее от гула автомобилей и мотоциклов. Людей прибавилось, а соседей не стало: вернувшись, каждый запирается в квартире, уезжая — в машине. Сегодня, проходя здесь, уже трудно вспомнить мою «Лунную сонату»:

Переулки улицы Сямэнь — узкие и длинные,

словно чистые соломинки, которыми пьют лунный свет,
прохладный лунный свет с привкусом мяты.
Волчий вой машин заглушил и мою «Ностальгическую сюиту для деревянных башма-
ков»:

Цок-цок,
тук-тук,
дайте мне маленькие деревянные башмаки,
позвольте разбудить детство,
сыграть на неуклюжем маленьком инструменте,
от начала переулка
до самого конца,
цокая и постукивая,
отмеряя дорогу шагами.

Три

В 1950-е «Центральное литературное приложение» было одним из самых желанных изданий для молодых авторов. Приехав на Тайвань из Гонконга, я поступил на третий курс факультета иностранных языков Национального университета Тайваня и сразу начал настойчиво посылать туда свои работы. Печатали почти всё. Лишь одно стихотворение отклонили; не смирившись, я отправил его снова — и оно вышло. Интересно, случалось ли подобное прежде в истории литературных журналов. В первые годы за стихотворение платили пять долларов: хватало сводить девушку в кино и затем поужинать в ресторане.

Обычно стихотворение появлялось примерно через неделю после отправки. Отсчитав дни, я с раннего утра прислушивался к тихому шороху во дворе: газета перелетала через бамбуковую ограду. Я распахивал дверь, подбирал её под огромной пальмой и в розовом свете рассвета осторожно разворачивал приложение. Прежде всего взгляд находил последнюю строку стихотворения. Одной строки было достаточно: она была моей. В эту минуту мир казался чудом. Солнце было новым, газета — новой, и моя работа — совершенно новой. Редактор снова признавал моё право быть поэтом, а мир снова оказывался в пределах досягаемости. Этого хватало для безмерной радости.

Вскоре чек с гонораром тихо опускался в почтовый ящик — вместе с письмами, журналами и бесплатными книгами. Мир всегда приезжал ко мне на велосипеде и стучался в дверь: сначала визжали тормоза, потом звенел звонок. А когда я сам отправлялся навстречу миру, выкатывал лёгкий, проворный «Геркулес», ставил левую ногу на педаль, отталкивался правой, звонил — и уже был на улице. Если ехал резво и ветер дул в спину, колёса словно вращались со скоростью огненных колёс Нэчжи, а до дома моей девушки на Северной улице Чжуншань было всего восемнадцать минут.

В одну летнюю ночь после окончания Национального университета Тайваня мы с Сяо Юйшэном поднялись на велосипедах к горе Юаньшань, легли на траву и молча смотрели в звёздное небо. Студенческие годы кончились, будущее оставалось неопределённым, и мы не знали, что делать. Выражение «потерянное поколение» ещё не вошло в моду, но мы и правда чувствовали себя потерянными. К счастью, общество уже распорядилось нашей жизнью. Начиная с нашего выпуска, окончившие университет проходили военную подготовку и службу. Мы учились на иностранных языках, поэтому избежали суровых сборов в Фэншане и остались переводчиками в Тайбэе. Я служил в Бюро связи и Третьем бюро до 1956 года. Тогда Ся Чيانь, слишком занятый, чтобы дальше вести курс эссе в Сучжоуском университете, попросил меня заменить его. Так я впервые вышел к университетской кафедре.

В 1950-е Тайбэй казался мне достаточно оживлённым, полным яркой жизни. И всё же население было не таким плотным, движение — спокойнее, а в тихих кварталах сохранялось почти деревенское очарование. Когда я ехал на восток по Хэпин-Ист-роуд, впереди постоянно виднелась гора Учжишань с её узнаваемым перевёрнутым силуэтом: высоких зданий, заслонявших горизонт, ещё не было. За Синьшэн-Саут-роуд движение редело, дома стояли всё дальше друг от друга, начиналась почти пустынная местность. Двигаясь на север по второму участку Чжуншань-Норт-роуд и сворачивая направо на Наньцзин-Ист-роуд, я попадал не на нынешний широкий четырёхполосный проспект, а на неровную цементную дорогу, извивавшуюся среди рисовых полей и молодой зелени. Два года, пока я учился в Национальном университете Тайваня, я ездил на юг по улице Рузвельта; справа тянулись бесконечные рисовые поля — чистые, невинно-зелёные, — и белые цапли, ещё более безмятежные. Как было им не завидовать? Если смотреть слишком долго, можно было и впрямь заразиться «зелёной тоской». Жителям нового Тайбэя, залитого неоном, эта благодатная болезнь уже не грозит.

Однажды зимой, на последнем курсе, пришёл холодный фронт, и профессор У Бинчжун пригласил меня домой на горячий суп. Я выехал на велосипеде навстречу ледяному ветру и сначала покатил по улице Хэньян. Было около восьми вечера, но улицы почти опустели: ни машин, ни велосипедов. Низко висели тёмные облака, ветер шуршал в тенях деревьев. Оглядываясь назад, Тайбэй 1950-х кажется непримечательной провинциальной столицей — не особенно богатой и великолепной, зато просторной и открытой. По сравнению с нынешним городом людей и машин было меньше, деревьев больше, здания ниже. За сорок лет Тайбэй вырос, и небо над ним сузилось; разросся — и одновременно сжался от тесноты. Он стал одеждой не по размеру, туго обтянувшей жителей. Давление ощущается не только телом, но и душой; пространство и время одинаково угрожают человеку. Нервная секундная стрелка неотступно гонится за каждым тайбэйцем. Большие и малые сроки ставят большие и малые пределы и вырывают из сна. Стоит выйти на улицу — и сеть вывесок, грохот, выхлопы и нескончаемые новости закрывают тебя беспомощным волчком.

Когда же удастся спокойно взглянуть в собственные глаза?

В те годы поэт мог прислониться к маленькому книжному лотку на улице Учана и царствовать в своём одиноком государстве, свысока улыбаясь и Спинозе, который шлифовал линзы и сам добывал себе хлеб, и Диогену, жившему в бочке. А под невысокими деревьями у стен улицы Гулин каждую ночь собирались книголюбы — старые и молодые. Сгорбившись или сидя на корточках, они рылись в горах старых обрывков, редких изданий и тайных рукописей, погружаясь в прошлое.

В том Тайбэе существовали люди, которых называли соседями. Слева от нас в переулке у улицы Сямэнь жила семья Чэн. Каждое утро отец семейства полоскал рот во дворе, и звук разносился далеко. После ужина вся семья пела гимны; мирная мелодия перелетала через стену, неся тепло домашней жизни. Через сорок лет этих людей уже нет. Исчезли и старомодные соседи — их сменили скрытые за дверями жители многоквартирных домов. Они, несомненно, образованнее, богаче и заняты сильнее; верят в труд и настойчивость, за что их можно уважать, но полюбить их трудно.

Тайбэй стал городом без соседей.

Я часто вспоминаю древний город, каким видел его до того, как он разбогател. Он остался по ту сторону телевизоров и компьютеров, за факсами и мобильными телефонами. Наверное, я мог бы вернуться туда на рикше — если бы ещё сумел её найти.

Если бы у меня было девять жизней

Если бы у меня было девять жизней!

Одной жизни едва хватает, чтобы управиться со всей реальностью. Несчастный датский принц говорил, что обладать телом — значит быть обречённым на тысячу природных бед. Одна из самых досадных бед современного человека — всевозможные формальности, а в них хуже всего заполнение бланков. Чем лист больше, тем удобнее писать; но учреждениям легче хранить листы поменьше, и потому государственные формы неизменно тесны. Человеку приходится втискивать адрес в узкие продолговатые клеточки, где едва поместились бы четыре зубочистки. А адреса бывают длинными: улица, переулок, ещё один переулок, номер дома — попробуй уместить. В такие минуты заполняющий форму искренне мечтает стать божеством, способным заключить гору Сумеру в горчичное зерно, или просто написать в графе: «Небеса». За одним бланком следует другой, снабжённый подробнейшими указаниями, которые приходится читать внимательно и с раздражением. Фотографии, печати, номера всевозможных удостоверений — пропустить нельзя ничего. Так уходит половина жизни; оставшейся едва хватает на ответы на письма и заседания — если вы ещё сумеете найти нужное письмо и выдержать табачный дым соседа.

Одну жизнь я хотел бы провести в нашем старом тайбэйском доме рядом с отцом и тёщей. Отцу за девяносто: правым глазом он не видит, левым различает едва-едва. Некогда общительный и деятельный, любивший оживлённые беседы и застолья с земляками, теперь он заключён в полусумрачном мире и почти не выходит. Ему остаётся вспоминать жену, умершую двадцать семь лет назад, и сыновей, невесток, внуков, разбросанных по свету. Тёще тоже за восемьдесят. Пять лет назад она сломала ногу и ходит уже неуверенно, но, несмотря на слабость, старается заботиться о ещё более немощем старике. Она приходилась мне тётей. После смерти моей матери поселилась у нас и взяла дом на себя. Её нежность стала для меня заботой второй матери. Я потерял одну мать, но Бог даровал мне другую.

Ещё одну жизнь я посвятил бы тому, чтобы быть мужем и отцом. Мужей, целиком занятых семьёй, в мире, вероятно, немного: у мужчины столько дел вне дома, что роль мужа нередко становится для него подработкой. Женщина же куда чаще бывает женой «на полной ставке». В анкетах можно встретить слово «домохозяйка», но я ещё не видел, чтобы мужчина написал о себе «домохозяин». Хорошая жена — несомненное благословение свыше; этот дар следует беречь, а не принимать как должное. Благодаря моей жене я, пожалуй, лучше справляюсь с ролью мужа, чем отца. Мать наших детей так деятельна и ответственна, что я, как отец, могу счастливо «править, ничего не делая». В семье действует система премьер-министра: я лишь формальный глава государства на общей фотографии. Четыре дочери живут далеко друг от друга; жена поддерживает связь и звонит им, а я, постоянно занятый чем-то иным, молча ношу их в сердце.

Ещё одна жизнь нужна для дружбы. Для китайца старого склада обязанности мужа могли быть второстепенными, зато дружба считалась главным делом. Если жена поощряла щедрость и гостеприимство супруга, помогая ему стать прекрасным другом, он заслуживал славу добродетельного человека. Новому человеку такой уклад, целиком обращённый к друзьям, разумеется, не по душе. Но и он не может отгородиться от мира и вовсе отказаться от дружбы. Чтобы быть хорошим другом, нужны время и деньги: принимать близких и дальних, откликаться на их нужды. Как осмелятся на широкое общение занятые и небогатые? Я не слишком беден, но времени мне недостаёт. Поэтому в роли «хорошего друга» предпочитаю не выдвигаться и чаще лишь отвечаю на зов. После всех забот о самых близких уже не остаётся сил поддерживать обширную сеть связей через моря и континенты. Моя дружба крепка, но круг её ограничен; это может показаться узостью взгляда, хотя причина всего лишь в невозможности дотянуться до далёких людей.

Одну жизнь следовало бы отдать чтению. Книг в мире слишком много. Не успеешь осилить два-три тома древних трудов, как на тебя обрушивается современная литература и захлёстывает с головой. В писательской среде уже святым считают того, кто прочёл хотя бы глав-

ные книги, подаренные друзьями. Одни читают своевольно и бессистемно — только то, что нравится, — и всё же становятся знаменитыми учёными. Другие трудятся прилежно и строго, обращаясь лишь к признанным авторам, чтобы заслужить имя исследователя. Я не могу похвастаться ни славой учёного, достигнутой свободным чтением, ни настоящей академической дисциплиной: нахожусь где-то посередине. Не будь писательства, я мог бы вести исследования последовательно; не будь преподавания, мог бы читать быстро и без оглядки. Если посвятить книгам целую жизнь, спешить уже не пришлось бы.

Хорошее преподавание требует полной отдачи; относиться к нему легкомысленно нельзя. Оценки, которые учитель выставляет ученикам, ограничены и вполне осязаемы. Оценка, которую ученики дают учителю, напротив, часто безгранична и неуловима. Подготовка к занятиям и проверка работ всё-таки имеют определённый объём. Истинная ценность учителя раскрывается в свободных разговорах и ответах на вопросы вне аудитории — там, где обучение переходит в воспитание характера. Поговорка «великий учитель рождает великих учеников» верна не всегда. Слишком знаменитый наставник часто поглощён внешними делами и почти не располагает временем для личного общения. Зато иной «учёный без славы» постоянно рядом с учениками — и потому добивается подлинных результатов.

Ещё одну жизнь нужно целиком посвятить писательству. На Тайване очень мало профессиональных литераторов; у большинства есть основная работа. Моя — преподавание. К счастью, предмет моих лекций близок к тому, о чём я пишу, поэтому два занятия не вступают в прямое противоречие. На Тайване днём я преподавал английский, ночью писал по-китайски — и довольно долго справлялся с обоими. Позже, в Гонконге, днём читал курс литературы 1930-х, а ночью создавал литературу 1980-х — это тоже удавалось совмещать. И всё же искусство требует полного погружения: художник, даже зарабатывающий другим трудом, если он серьёзен, не может не ставить творчество на первое место. Рубенс, служивший послом Нидерландов в Испании, после обеда ежедневно писал картины в королевском саду. Проходивший мимо придворный заметил: «О, дипломаты иногда развлекаются живописью». Рубенс ответил: «Напротив: художники иногда развлекаются дипломатией». Лу Ю писал о Ду Фу: «Сердце его вмещало вселенную, но талант не нашёл применения; героический дух ушёл в тушь и кисть. Если бы Небо открыло ему путь к делам императора Тайцзуна, кто, кроме него, мог бы встать рядом с Ма и Чжоу? Потомки видят в нём лишь поэта — и мне остаётся только вздыхать». Лу Ю полагал, что Ду Фу следовало прославиться делами, а не одними стихами, — мнение прямо противоположное словам Рубенса. Я на стороне Рубенса: литературного свершения достаточно для гордости. Наследие Рубенса — его живопись, а не дипломатия.

Одну жизнь я отдал бы путешествиям. Вряд ли кто-то откажется увидеть мир: наблюдая других и узнавая разные края, мы лучше понимаем не только землю, но и себя. Одни плывут на роскошных лайнерах — Се Линъюнь в новом воплощении, вероятно, выбрал бы именно это. Другие идут с рюкзаком через горы и долины. Третьи объезжают мир на велосипеде. Всем им я завидую. Но сильнее всего мечтаю о долгом автомобильном путешествии — до самого края земли. Жена любит дорогу ещё больше меня, поэтому мы могли бы стать идеальными попутчиками; пожалуй, даже Сюй Сяке позавидовал бы. Правда, он был великим путешественником и исследователем, а мы лишь на короткое время примерили бы его судьбу.

И наконец, последнюю жизнь я прожил бы без спешки, в собственном ритме: смотрел бы, как цветы раскрываются и увядают, как люди приходят и уходят. Не гнался бы ни за чем определённым и не позволял бы срокам подгонять меня.

Чжу Гуанцян

Чтобы сохранить жизненную силу, человеку нужно уметь радоваться жизни.

Жизнерадостность — это счастье, которое мы находим в повседневности,

а жизненная сила — энергия, без которой невозможно полноценно жить.

— «Об отдыхе»

Об отдыхе

Большинство людей полагает: чем дольше работаешь, тем больше сделаешь. Если за день можно пройти 100 ли — 50 километров, — значит, ещё один день добавит ещё 100 ли; и так можно без остановки сохранять тот же темп сколько угодно. Тот, кто ходил на большие расстояния, знает, насколько неточен этот расчёт. Если долго идти без передышки, шаг неизбежно замедлится, пока совсем не иссякнут силы. Поговорка «не бойся идти медленно, бойся останавливаться» верна лишь отчасти. Вечно стоять, конечно, нельзя, но и движение без остановок не обязательно уводит далеко. Непрерывная ходьба может замедлить путь, тогда как своевременная передышка не всегда означает потерю времени; порой именно остановка позволяет ускориться. Распространённый недостаток китайцев в том, что они боятся остановиться, но не боятся тянуть дело. Работают медленно и вяло: вроде бы не отдыхают, однако и не трудятся по-настоящему; кажется, всё время заняты, а существенного результата нет. Так дела откладываются, время растрачивается. Мы привыкли говорить о труде, но не об эффективности. В современном обществе без неё неизбежно отстанешь. На Западе эффективность давно стала насущным вопросом. Психологи провели множество опытов и установили: при одинаковом общем времени те, кто делает перерывы, справляются с одной и той же задачей лучше. Например, на длинную страницу примеров на сложение можно потратить два часа непрерывной работы. Но если заниматься пятьдесят минут, отдохнуть двадцать и поработать ещё пятьдесят, задача будет закончена за то же время и с меньшим числом ошибок. Многие современные западные фабрики строят режим труда и отдыха на этом принципе. Работа без передышек — настоящая растрата времени, а истощение сил обходится ещё дороже. Если сравнить продолжительность деятельной жизни китайцев и людей Запада, разница составит не меньше двадцати лет. Мы уже в пятьдесят-шестьдесят старше и теряем работоспособность, а они всё ещё полны сил и лишь входят в расцвет карьеры. Какая огромная разница!

Отдых не только возвращает силы: иногда именно во время отдыха работа созревает. Великий французский математик Пуанкаре долго бился над задачей и не мог её решить, а затем, гуляя по улице, неожиданно и без усилия нашёл ответ. Психологи объясняют это так: сознательная работа должна уйти в подсознание и там укорениться. Отложив задачу, мы как будто отдыхаем, но в глубине работа продолжается. Циммерс называл это «учиться конькам летом, а плаванью зимой». Кататься учились прошлой зимой; летом льда нет и навык будто забыт, но за время перерыва движения закрепляются. Так же и с плаванием, и с любым другим умением. В каллиграфии, например, усердные занятия порой дают очень медленный прогресс или даже временно ухудшают письмо. Но стоит сделать паузу и вернуться — и вдруг замечаешь улучшение. За продвижением следует остановка, затем новый скачок; этот цикл повторяется много раз, прежде чем человек овладеет искусством. Перерыв позволяет мышцам и технике созреть и закрепиться на уровне подсознания. То же относится к освоению любого навыка. Отдых не бывает бесполезным; нередко он приносит больше, чем сама работа.

В «Сутре сорока двух глав» есть история, предостерегающая от чрезмерной поспешности в учении. Ночью один монах читал сутру последних наставлений Будды Кашьяпы; голос его звучал устало и печально, словно он раскаивался и готов был всё бросить. Будда спросил: «Чем ты занимался в мирской жизни?» — «Любил играть на лютне». — «Что будет, если струны ослабить?» — «Они не зазвучат». — «А если натянуть слишком сильно?» — «Звук

тоже пропадёт». — «Значит, верное натяжение — залог звучания?» — «Да, это понятно каждому». Тогда Будда сказал: «Так и с монахом, постигающим Путь. Спокойный ум ведёт к Пути. Поспешность истощает тело; истощённое тело тревожит ум, и продвижение прекращается». Древние конфуцианцы, в том числе Чэн И и Чжу Си, также отвергали спешку в учении и призывали к «неторопливому созерцанию». В этих четырёх иероглифах заключена глубокая мудрость: после напряжённой работы мастерство должно медленно дозреть, словно блюдо на слабом огне; сознательное усилие должно продолжиться в подсознании. Для такого созерцания необходим отдых. В учёбе и делах прежде всего нужен ясный, спокойный и гибкий ум, способность владеть собой, быстро приниматься за новое и вовремя откладывать его. Спешка и нетерпение чаще всего ведут к ошибке. Бывает, я пишу без настроения или в усталости: рука не поспевает за мыслью, и чем усерднее пытаюсь исправить текст, тем хуже он становится. Но я упрямо продолжаю, уже с раздражением: вырываю неудачное, переписываю — и снова недоволен. Досада растёт, а вместе с ней портится текст. Если же, почувствовав, что вдохновение иссякло, сразу отложить работу, выйти за город, вдохнуть свежий воздух, посмотреть на голубое небо и зелёную воду, силы возвращаются. После прогулки то, что казалось тяжёлым и невозможным, делается легко и радостно. Так не только с письмом. Чтобы хорошо работать, нужно быть полным энергии и находить в деле удовольствие. Когда вы устали или раздражены, разумнее отложить работу, немного отдохнуть и вернуться к ней с восстановленными силами.

Для полноценной жизни человеку нужны жизнерадостность и жизненная сила. Первая — это радость повседневности, вторая — энергия, позволяющая жизни расцветать. Изречение Чжугэ Ляна «в спокойствии рождается дальний замысел» охватывает и то и другое. Лишь спокойствие даёт и глубокую радость, и запас сил; без достаточного отдыха и неторопливого размышления его трудно достичь. В мире немало людей, задавленных лишениями и житейскими заботами, рассеянных бесчисленными мыслями, беспрестанно подгоняемых обстоятельствами. Они работают как машины, не владеют собой, живут вяло и однообразно, не испытывая радости. Это жертвы среды: у них нет сил поднять голову, овладеть обстоятельствами или преобразить их, а значит, трудно добиться настоящего величия в труде или учении. Я знаю много обедневших крестьян, прилежных старых учёных и чиновников, по восемь часов просиживающих в учреждениях; все они вызывают у меня именно такое чувство. Если страна наполнена подобными людьми, трудно представить её мир светлым.

Библия рассказывает о сотворении мира. После каждого этапа сказано: «И увидел Бог, что это хорошо». На седьмой день Он завершил труд, остановился и благословил день отдыха. Этот простой отрывок заставляет задуматься. Нам нужно время не только для работы, но и для того, чтобы оглянуться и увидеть: сделанное хорошо. После завершения дела необходим день, когда можно восстановить силы и испытать радость успеха. Такой отдых достоин быть благословенным и освящённым — именно эти слова употребляет Библия. В нынешней стремительной жизни мы несёмся, словно вода и скачущие кони, не оставляя ни минуты для наблюдения и размышления. Великолепный мир проносится за окном скорого поезда, а мы остаёмся деревянными фигурками в игре жизни. Перед нами пример Бога, но мы ему не следуем. Разве это не растрата самой жизни?

Мне особенно дороги две строки из самохарактеристики Тао Юаньмина: «В труде — без излишеств, в сердце — неизменный покой». В первой чувствуется то, что Ницше называл дионисийским духом, во второй — аполлоническое начало. Найти покой в движении и сохранить самообладание — высшая ступень внутренней культуры. Недуг современного человека можно выразить наоборот: «Труд чрезмерен, сердце никогда не спокойно». Он делает жизнь скучной и изнурительной, истощает тело и ум, обесмысливает усилия; засоряет сердце, лишает гармонии и великодушия, ежедневно сковывает погоней за славой и выгодой, отчего мир становится всё бесплоднее и мрачнее. Описывая адские муки, Данте часто повторяет: «без остановки», «без передышки». Уже само отсутствие паузы — наказание. Тот, кто добровольно принимает

его, сам превращает мир в ад. Дети Божьи, последуем Его примеру и благословим время отдыха после труда.

О жизни и о себе

Друг мой,

Я написал тебе много писем, но ни разу всерьёз не говорил о жизни. Отчасти потому, что тема затёрта до дыр, отчасти — потому, что не считаю её столь важной, как принято. В этом последнем письме я всё же возвращаюсь к избитому вопросу, но не собираюсь проповедовать великие истины — лишь поделюсь несколькими собственными взглядами.

На жизнь я смотрю с двух позиций. В одной я сам выхожу на сцену и играю вместе со всеми людьми и вещами мира; в другой остаюсь за кулисами и наблюдаю, как они разыгрывают меня.

На сцене я не вижу существенной разницы между собой и другими людьми — и даже между человеком, птицей, зверем, насекомым или рыбой. Люди страдают сильнее прочих существ, потому что придают себе особую важность; а некоторые страдают сильнее других людей по той же причине. Возьмём одежду и пищу — простейшие потребности. Они превратились в огромную мировую проблему лишь потому, что одни стараются обогатиться за счёт других. То же с жизнью и смертью: сами по себе они просты, бесчисленные существа рождаются и умирают. Колесо раздавливает насекомое, буря срывает цветок — ни насекомое, ни цветок не успевают привязаться к собственной участи. Человек же добавляет к рождению, старости, болезни и смерти слово «страдание», потому что надеется: Создатель обязан обращаться с ним лучше, чем с травой, насекомыми и рыбами.

Такой взгляд позволяет мне видеть себя одним из растений, насекомых и рыб, одинаково принимающих лёгкий ветер и сладкую росу, палящий зной и зимний мороз. Как говорил Чжуан-цзы, «все рождаются, не зная, почему живут; все получают свою долю, не зная, почему получают». Порой они взмывают ввысь или бросаются в глубину, пышно расцветая; порой складывают лепестки и крылья и мирно замирают, следуя врождённой природе. Они не спрашивают, какой должна быть жизнь, не ищут её цели и не жалуются, что Небо поступает несправедливо, позволяя человеку уничтожать и мучить их. Для них сама жизнь — и путь, и цель.

Наблюдая растения, насекомых и рыб, я усвоил важный урок. Я не ищу способа жить, отличного от самой жизни, и не ищу смысла, отдельного от собственного существования. Станет ли в мире одним человеком больше или меньше, выпадет ли мне удача или несчастье — гармония неба и земли от этого не нарушится. Если спросите, как следует жить, отвечу: следовать естественному порядку и своей природе, подобно растениям, насекомым и рыбам. Если спросите, зачем человек живёт в вечно меняющемся мире, отвечу: жизнь существует ради самой себя и иной цели не имеет. Если пожалуетесь, что она несчастна, скажу: человек рождается не исключительно для наслаждения счастьем, поэтому удивляться нечему.

Это не упадочный взгляд. Если мои слова кажутся вам декадентскими, весной сходите в сад, когда цветут все деревья: посмотрите на бабочек, послушайте птиц, а затем выйдите на перекрёсток и взгляните в человеческие лица. Кто из них жив, а кто выглядит увядшим? Зимой, когда тяжёлый снег пригибает ветви и мороз пронизывает тело, посмотрите на сосны под снегом, на птиц, стоящих на льду, на рыб в воде; затем взгляните на «разумнейшее из существ», которое громко жалуется при первой трудности. Кто, по-вашему, лучше переносит испытания и проявляет больше упорства?

Кому-то сравнение человека с животными покажется ересью. При желании я легко собрал бы цитаты из классиков и призвал на защиту Конфуция и Мэнцзы: учение Конфуция о познании судьбы, Мэнцзы — об осуществлении собственной природы, Чжуан-цзы — о равен-

стве вещей, сунских конфуцианцев — о беспристрастности и отклике на обстоятельства, наконец, греческих стоиков. Из каждого можно построить трактат и укрыться за ним как за щитом. Но это излишне. Я не ставлю себя ни выше, ни ниже других; если мои доводы состоятельны, им не требуется авторитет древних мудрецов.

Таково моё отношение к жизни, когда я нахожусь на сцене. Но обычно мне больше нравится смотреть из-за кулис. Многие сводят жизнь к добру и злу, поэтому либо привязываются к ней, либо испытывают отвращение. Из-за кулис люди и вещи предстают передо мной на равных. Си Ши и Мо Му, Цинь Хуэй и Юэ Фэй интересуют меня так же, как скворцы и попугаи, солодка и горькие травы; строители домов — как сороки, выющие гнёзда, и муравьи, роющие ходы; война — как петушиный бой; любовь — как погоня стрекозы-самца за самкой. В таком взгляде добро и зло, правота и неправота отступают. Меня просто увлекает суетливое и беспорядочное зрелище людей и вещей — словно картина или роман.

Среди этого множества одни явления привлекают ярко выраженным комизмом, другие — глубокой трагичностью.

Иногда я вижу комедию жизни. Недавно встретил молодого дипломата: подбородок у него был совершенно гладкий, но, разговаривая, он то и дело потирал щёку большим и указательным пальцами, словно разглаживал усы. Говорят, такой жест придаёт авторитетность; мне же он показался забавнее карикатуры. Много лет назад один коллега любил с обидой повторять: «Будь я женщиной, получил бы стопку предложений толщиной не меньше фута!» Уже то, что он не был женщиной, составляло комедию; к тому же он был некрасив и изрыт оспой. Даже посчастливясь ему родиться женщиной, едва ли предложения стали бы для него проблемой, а самоуверенность превращала комедию в двойную. Таков же анекдот о британском писателе Голдсмите. Однажды он шёл по мосту в Голландии с несколькими женщинами. Все прохожие смотрели на спутниц, а на него никто не обращал внимания. Тогда он сердито сказал: «В других местах и на меня смотрят так же!» Подобные сцены я замечаю ежедневно. В тишине и одиночестве достаю их из памяти, обдумываю и смакую; порой это приятнее курения или чая. Честно говоря, если бы Цао Сюэцинь не создал бабушку Лю, У Цзинцзы — Янь Гуншэна, а Мольер — Тартюфа и Гарпагона, жизнь стоила бы ещё меньше. Я благодарен этим персонажам едва ли не больше, чем приливу на Цяньтане и водопадам горы Лу.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.